

Содержание

Вас. Вас. Розанов

Гоголь

7

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Предисловие

17

Сорочинская ярмарка

24

Вечер накануне Ивана Купала

53

Майская ночь, или Утопленница

70

Пропавшая грамота

101

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Предисловие

113

Ночь перед Рождеством

118

Страшная месть

165

Иван Федорович Шпонька и его тетушка

208

Заколдованное место

236

ПОВЕСТИ

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

247

Нос

285

ПОРТРЕТ

313

ШИНЕЛЬ

372

КОЛЯСКА

406

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

419

Рим (*отрывок*)

443

МЕРТВЫЕ ДУШИ

487

Примечания

749

Гоголь

Есть стиль языка. Но есть еще стиль души человеческой и соответственно этому стиль целостного творчества, исходящего из этой души. Что такое стиль? Это план или дух, объемлющий все подробности и подчиняющий их себе. Слово “стиль” взято из архитектуры и перенесено на словесные произведения. Стиль готический, романский, греческий, славянский, византийский обозначают дух эпохи, характер племени и века, как-то связанный и понятно выражающийся в линиях зданий, храмов, дворцов. Стиль автора есть особаяковка языка или характер избираемых им для воплощения сюжетов, наконец — способ обработки этих сюжетов, связанный с духом автора и вполне выражающий этот дух. Известно, что каждый сильный автор имеет свой стиль; и только имеющий свой стиль автор образует школу, вызывая подражателей. Чем оригинальнее, поразительнее и новее стиль, чем, наконец, он прекраснее, тем большее могущество вносит с собою писатель в литературу.

За XIX век русская литература пережила три стиля: карамзинский, пушкинский и гоголевский.

Стиль Карамзина равно владеет формой и содержанием, отражаясь на ковке фразы и выборе предметов повествования, стихотворного пения и изучения. Гениальный создатель “Истории государства Российского” не был или пренебрегал быть творцом-фантастом, довольствуясь не сотворением идеалов, а идеальным освещением действительности. Мало кто так доверчиво и благородно любил действительность, как он. Это отразилось на его слоге. То величественный, как в “Истории”, то оживленный, как в “Письмах русского путешественника”, он везде благоразумен,

избегает излишнего, не бурлит чувствами, и его творения похожи на прекрасную римскую тогу, с легким греческим оттенком, которую добрый скиф накидывает на плечи варваров и варварства. Россия с любовью посмотрелась в зеркало, которое он ей подставил; и хотя немного обманулась, увидя красивое свое отражение в стекле, но обманулась самым благородным образом, даже самым полезным, все время оправляясь, улучшаясь по показаниям немного неправдивого зеркала, которое и льстило, и манило, и давало силы и бодрость к улучшениям. Язык и все творения Карамзина прекрасно-однообразны. Он все восходил к более серьезному, к более серьезным темам. Но он никогда не менялся сам. Лоб его, чело его царственно господствовали над остальными силами души, благородно правя ими, как патриций вольноотпущенными и клиентами. Это был барин-помещик-вельможа екатерининского духа, но с царством в умственной сфере. Все захотели быть, все побежали стать “крепостными” этого великолепного экземпляра русской породы, и лет на двадцать образовался в литературе, письменности, печати, даже в нравах гостиных, “карамзинский стиль”.

Пушкин всегда любил и не мог не любить Карамзина. Всякий благородный русский должен любить Карамзина. Но Пушкин был более мудр, чем он. Он кое-что убрал из римских черт русской тоги, он пошевелил под нею плечами скифа; он вообще догадался, что мы — скифы. Но, гениальное сердце, он в этом скифе открыл сокровища, которых, пожалуй, не было в Капитолии. Сущность Пушкина выражается в совершенной естественности в нем русского, возвеличившегося до величайшей, до глубочайшей и высочайшей общечеловечности. От поэм и романов до мельчайших смехотворных шуток, от таких, по-видимому, иноземных сюжетов, как “сцены из рыцарских времен”, и до стихотворений с не русскими именами, как, например, “Играй, Адель, не знай печали”, он везде является скифом, туземцем, но не самодовольным, а который мудрым оком и внимательным сердцем озирает панораму мира и народов; и мудрейшие слова слагает о них в сердце своем. Если бы еще Пушкин видел мир, путешествовал, что бы мы от него имели! Карамзин украшал русского. Пушкин показал красоту его. Он разбил зеркало. Он велел дурнушке оставаться дурнушкою; но взамен внешней красоты, которой ей недоста-

ет, он речами своими и манерой обращения вызвал всю душу ее наружу, так сказать, потащил душу на лицо: и дурнушка стала бесконечно милым и дорогим для русского сердца существом. Только с Пушкиным начинается русский настоящий патриотизм, как уважение русского к душе своей, как сознание русского о душе своей. Пушкин открыл русскую душу — вот его заслуга.

Подвиг Пушкина был до такой степени труден, и он в такой мере зависел от гармонии души его, что собственно в “школе” его мы имеем одно бессилие и внешность. “Петь” природу, “как она есть”, вовсе не значит быть хотя бы мелкою гранью алмаза-Пушкина. Все это не то. Не будет доставать внутреннего. Самые страдания Пушкина (биографические) и счастье слились в какую-то гармонию. Вообще в Пушкине было много, так сказать, исторической “удачи”. Пушкин просто “удался” матушке-истории; как и образование чудного алмаза ведь всего только “дается” пластам земли, а не выделяется их преднамеренными усилиями. Ни объяснить алмаза и Пушкина, ни дать теорию их — невозможно. Можно ими обоими только пользоваться. Пушкин никогда не повторялся, и, например, Языков, Дельвиг, Боратынский составляют лишь слабое выражение его школы. Скорее Пушкин отражается или имеет себе “школу” в огромных частях (но не в целом) творчества позднейших великих наших прозаиков; в Тургеневе он более живет, чем в Языкове; огромные полосы в сотворении “Войны и мира” имеют в себе пушкинскую ткань. Хотя и Тургенев, и Толстой, уже по силе и самостоятельности своей, сами суть школа, суть солнца-человеки, а не спутники-планеты другого солнца.

Гоголь — какой-то кудесник. Он создал третий стиль. Этот стиль назвали “натуральным”. Но никто, и Пушкин не создавал таких чудодейственных фантазий, как Гоголь. “Вий” и “Страшная месть” суть единственные в русской литературе, по фантастичности вымысла, повести, и притом такие, которым автор сообщил живучесть, смысл, какое-то странное доверие читателя и свое. Я хочу сказать — в них чуешь какую-то истину, хотя их фабула переступает границы всякой возможности. Разве меньше, так сказать, фантазии мысли, фантазии мышления, узких и странных его коридорчиков, в “Невском проспекте”, в “Риме”? Наконец, что за странность рассказывается нам в “Носе”?! Но при этом действительно, рядом с этим могуществом и с этим призванием к фанта-

тическому, Гоголь имел равное могущество и равное призвание и к натуральному, натуралистическому. Иногда кажется, что он носил в субъекте своем мир, совершенно подобный внешнему, и уже последний *знал* раньше, чем на него начинал глядеть! Как мало, в сущности, он видел Россию. В Москве был остановками, в Петербурге жил не долго, по “губерниям” только проехался, но поставил зеркало, перед которым канула вся Россия. И сколько он мелочей в ней заметил, духовных подробностей, но ценных, но важных, и на которые до него никому не приходило в голову обратить внимание. Наконец, как он уловил “стиль по преимуществу немощей ее”. “Знаете, на таможене: обрадовался — вот отечество. Но первая фраза, какую я услышал на русском языке, было слово одного таможенного чиновника другому: Чин чина почитай. Право”. И все. И все это слышали, или подобное; слышали и забывали. Но Гоголь пригвоздил, “распял на кресте” этот “стиль” России. И Россия должна быть бесконечно благодарна ему, что силою чрезвычайного дарования своего он убил этот гнусный стиль. При Карамзине мы мечтали. Пушкин дал нам утешение. Но Гоголь дал нам неутешное зрелище себя, и заплакал, и зарыдал о нем. И глгучие слезы прошли по сердцу России. И она, может быть, не стала лучше. Но тот конкретный образ, какой он ненавидел в ней, она сбросила, и очень быстро. Реформ Александра II, в их самоуверенности и энергии, нельзя себе представить без предварительного Гоголя. После Гоголя стало не страшно ломать, стало не жалко ломать. Таким образом, творец “Мертвых душ” и “Ревизора” был величайшим у нас, вне сравнения с ним кого-нибудь, политическим писателем. Царь-реформатор пришел тем вторым и подлинным “ревизором”, о котором только упомянул, не выведя его, Гоголь. Да уж и не хотел ли сатирик сказать комедию современникам: “Вы все только Хлестаковы, предварительные и не настоящие; шуму от вас много, много от вас страху, а дела нет: но, подождите, будет настоящий ревизор”. Кто знает, не заключалась ли тут негласная сатира на все 25-летие, от декабристов до Севастополя. Не забудем, что Гоголь чрезвычайно любил абстракции, обобщения, панорамы. Что все его творения, в особенности деловые, сатирические, в сущности, есть схемы.

Гоголь — пример великого человека. Выложите вы его из русской действительности, жизни, духовного развития: право, поте-

рять всю Белоруссию не страшнее станет. Огромная зияющая пропасть останется на месте, где стоит краткое “Гоголь”. Сколько дел, лиц исторических, сколько течений общественных и духовных явлений, если вырвать из них “Тоголя” и “гоголевское”, получит сейчас другое течение, другую формировку, вовсе другое значение. Гоголь – огромный край русского бытия. Но с чем же он пришел к нам, чтобы столько совершить? Только с душою своею, странною, необыкновенною. Ни средств, ни положения, ни, как говорится, “связей”. Вот уж Агамемнон без армии, взявший Троию; вот хитроумно устроенный деревянный конь Улисса, который зажег пожар и убийства в старом граде Приама, куда его везли. Так Гоголь, маленький, незаметный чиновничек “департамента подлостей и вздоров” (“Шинель”), сжег николаевскую Русь. Не обращено, кажется, внимания, что в своих Костанжогло и Муразовых он предсказал Губониных, Кокоревых, Кауфманов, Барановых. Бенардаки даже и по фамилии похоже на Костанжогло. Из самой рисовки этих типов, типов Александровской эпохи, так чудодейственно угаданных, видно, что “Илион” императора Николая он в самом деле обрек в уме своем “на сожжение” и начинал “Ревизором” и “Мертвыми душами” пожар едва ли только “художнически-бессознательно”. Гоголь – великий творец-фантаст; но припомним же, сколько в нем было преднамеренности, обдуманности, сколько было дальновидной хитрости в его хилом и странном тельце.

Биографы гадают и по всему вероятно никогда не разгадают Гоголя. А есть что разгадывать. Все знают о его скрытности и притворстве; но нельзя же отрицать, что в творчестве своем он был безмерно искренен, горел, пылал в нем и не притворным смехом, и не притворною любовью. И все-таки общее резюме о нем биографов: “Гоголь молчалив и загадочен, как могила; ничего в нем не понимаем”. При бесспорной искренности его творений, к которым мы так мало имеем окончательного “ключа”, остается думать, что Гоголь принадлежал к тем редким мятущимся и странным натурам, которые и сами от себя не имеют “ключа”. “Посланец божий” – вот ему и всем таким имя. Гоголь не имел очень большого самообладания. Посмотрите: он впечатлителен, он отдается влияниям, от Пушкина до священника Матвея Ржевского, – он, столь могущественный человек. Он слаб, он ищет

опоры, этот насмешник и скрытый человек. Что же это значит? Он вечно борется с собою: он вечно кого-то поборает в себе. “В нем был легион бесов, — как сказано о ком-то в Евангелии: — и они мучат и кричат в нем”. И Гоголь был похож на такого “бесноватого”, или, пожалуй, на “ящик Пандоры” с запертыми в нем самыми противоположными ветрами. Он вечно боится что-то “выпустить” из себя, таится, хитрит, не говорит о себе всего другим; и вместе в этих других явно ищет опоры против кого же, если не против себя. Он даже о своих творениях объяснял, что писание их составляло ступени его внутренней с собою борьбы, “улучшений” себя. Он вечно кается — непонятно в чем. Такой умеренный и благоразумный с виду человек. Мы всё склонны объяснять болезнью. “Болезнь” да “болезнь” — какое легкое объяснение: это *deus ex machina*¹ неумных биографов. Ибо почему, читатель, у нас с вами не быть такой гениальной болезни, с такими же причудами? Но у нас есть только ревматизмы и тому подобные рациональные пустяки. Гоголь был, конечно, болен нравственными заболеваниями от чрезмерности душевных глубин своих. Его трясло, как деревню на вулкане. Но в чем секрет его вулкана, из которого сверкали по ночному небу зигзаги молний, текла лава, сыпался песок и лилась грязь: этого, не заглянув туда, нельзя сказать. А заглянуть — тоже нельзя. Только и можно сказать, что вулкан был огромный, могучий, планетный; что это “дух земли” заговорил в нем. Но больше этих поверхностных слов, что же мы можем сказать о нем? И Гоголь вечно, всю свою биографию, говорил: “Мне трудно”. А что такое “трудно” и в чем трудно — не умел и, вероятнее всего, не в силах был объяснить. “Темно во мне”, “и сам в себе дна не вижу”, “вам около меня грозно, а мне с собою страшно”, — право, это как будто рвется из его биографии. Но ничего более ясного.

И вот этот “труждающийся” человек то давал нам “Нос”, “Коляску”, то выкладывал “Мертвые души” и “Ревизора”, и в самые еще юные годы рассказал о “Страшной мести”. Какая натуральная там фигура пана Данилы: “Отчего же, отец, ты галушки отказываешься есть? Это христианское кушанье, и его все святые угодники Божии кушали”. Но поморщился пан-отец и, отодвинув казацкое кушанье, молча потянул из фляжки какой-то черной водицы. Вот

1 Бог из машины (*лат.*) — разрешение безвыходного положения.

иногда кажется, что у Гоголя было немножко такой “черной водицы”, где был и талисман его силы, и источник его вздохов. “Уж проплясал на славу казачка, уж рассмешил всех: когда же есаул поднял иконы, вдруг все закричали, попятились, сторонясь от танцующего казака: нос у него удлинился и загнулся в сторону, запрыгали зеленые глаза, из-за спины поднялся горб, и стал казак — старик”. Как это похоже на биографию Гоголя, с смехотворностью его “сорочинской ярмарки” и разных сказочных диковинок, из-за которых вдруг полезли всем неожиданные глаголы, вплоть до непостижимой “Авторской исповеди”.

И попятились все назад, и закричали, хватаясь за руки друг друга: “Это колдун”.

Во всяком случае “чародей”, даже с преобладающими добрыми намерениями, так сказать, “колдун с филантропическим образом мыслей”, но все-таки с этим именно древним ведовским в себе началом, был в натуре Гоголя; от этого “Вия” в нем, “огромного, во всю стену обросшего землей, с железными веками на очах” — шла его таинственная и рациональная сила, его ведение настоящего и в значительной степени будущего. Только такой “ведун” мог написать “Невский проспект”, “Портрет”, “Коляску” и около нее “Рим”; задумать и Собакевича и Улиньку; смешаться и в слезах, и в смехе, удивляя друзей и оставляя недоумение в потомстве.

В.В.Розанов¹
1902 г.

1 Розанов Василий Васильевич (1856–1919), русский писатель, публицист, философ.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ

ПОВЕСТИ, ИЗДАНЫЕ ПАСЕЧНИКОМ
РУДЫМ ПАНЬКОМ

Часть первая

ПРЕДИСЛОВИЕ

“Это что за невидаль: “Вечера на хуторе близ Диканьки”? Что это за “Вечера”? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника дотащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее”.

Слышало, слышало вешее мое все эти речи еще за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! Это все равно как, случается, иногда зайдешь в покой великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть — дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. “Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..” Я вам скажу... Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался — плачь не плачь, давай ответ.

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит

вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или кому), — у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, — тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалека, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум... Это у нас *вечерницы!* Они, извольте видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрипачом — подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком — ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в

будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей... Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать — вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него — лопатус, баба — бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: “Как это, батьку, по-вашему называется?” Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и — хватя его по лбу. “Проклятые грабли! — закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин, — как же они, черт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!” Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посередине комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под локтем табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже ка-